

Г А Э Л Ь Ф А Й

# ЖАКАРАНДА

Р О М А Н

*перевод с французского*

Тимофея Петухова



phantom press

Москва

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)  
Ф17



GAËL FAYE, JACARANDA

Copyright © Éditions Grasset & Fasquelle, 2024

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана с согласия Les Éditions Grasset & Fasquelle



Издано при поддержке Программы содействия издательскому делу Французского института

Cet ouvrage a bénéficié du soutien du Programme d'aide à la publication de l'Institut français



Перевод с французского Тимофея Петухова  
Редактор Евгений Чепурной

Оформление обложки и макет Андрея Бондаренко

**Гаэль Фай**

Ф17 Жакаранда: Роман / Пер. с фр. Т. Петухова. — М.: Фантом Пресс, 2026. — 288 с.

Милан никогда не бывал в Руанде, он обычный французский подросток, не знающий почти ничего о стране, откуда родом его мать, и о тех ужасах, от которых она бежала. Но однажды на пороге их дома появляется мальчик, голову которого пересекает страшный рубец. С этого дня жизнь Милана изменится, как и сам он, — Милан начнет непростой, долгий и запутанный путь к своим корням, к своей семье. И символом этой дороги станет старое дерево — прекрасная жакаранда, видевшая все то, что люди попытались забыть. В своем романе Гаэль Фай рассказывает историю четырех поколений, разворачивая перед читателем трагическую картину прошлого страны, которая, несмотря ни на что, стремится к диалогу и прощению. Это роман о том, что порой память — боль, а порой — путь к исцелению. И воплощение памяти — жакаранда, символ укорененности и одновременно хрупкости.

ISBN 978-5-907943-22-3

© Тимофей Петухов, перевод, 2026  
© Андрей Бондаренко, оформление, макет, 2026  
© “Фантом Пресс”, издание, 2026

**С**телла бросилась в сад. И видела, как они повалили её на землю. Её подругу, всё её детство, её вселенную. Грязные, лоснящиеся от пота, довольные собой мужчины с мачете в руках. Она в ужасе вскрикнула и, прижав к животу ладонь, упала на колени в траву, лицо у неё пылало.

С того самого дня Стелла в психиатрической клинике.

В больничном коридоре врач беседует с её матерью. Заговаривает о посттравматическом синдроме. Мать нервно смеётся: “О чём вы, доктор, эта девочка в жизни не знала горя и ни в чём не нуждалась!” Врач спрашивает, не из уцелевших ли Стелла. Но, не успев договорить, видит в анкете дату рождения. Ей двадцать один. Мать рассыпается смехом — Стелла всегда любила этот смех, чистый, залихватский. Наконец она берёт себя в руки, чтобы не смущать врача, и спокойно подтверждает: да, дочь родилась после трагедии.

Все последующие ночи Стелла подолгу лежит без сна. Здание больницы пронизывают стоны, бесконечные всхлипы и вскрики. Из соседней палаты доносится тревожное

шевеление. Что-то скребётся. Скрипит. Скрежещет. Наутро медсестра, давая ей лекарство, рассказывает, что там уже много лет лежит мужчина неопределённого возраста. Днём он сидит на стуле, уставившись в окно. А ночью ползает по полу, хватаясь за стены палаты. Стелла не спит: тревога возвращается — живая, острая. Она разглядывает в темноте потолок, следит за быстрыми перебежками гекконов и прислушивается к шорохам ползущего вдоль стен человека-таракана. Больница — ночной корабль, вылавливающий из пучины людей — сгоревших в попытках отстроить страну, выжатых давлением семьи, измученных требованиями общества, дезертиров из великой человеческой комедии. Но главное, она даёт приют этим онемевшим теням, словно извиняющимся, что они ещё живы, блуждающим во мраке неуспокоенным душам, людям-скорлупкам, внутри которых — неисцелимые страдания и кошмары.

Врач снова задаёт вопросы. Он хочет разговорить её, понять, чем вызвано её состояние. Ответить она не решается. Она — часть истории, а история научила её глотать свои чувства, чтобы слёзы оседали глубоко внутри. Врач настаивает, Стелла замыкается в себе. Сердце — тайна. Как признаться этому мужчине, что всё дело в дереве? Её дереве.

В её друге, её детстве, её вселенной.

В её жакаранде.

1994



**В**ойна! Не знаю, зачем я ответил “Война”, когда Софи, наша староста, готовясь защищать меня перед учительским советом, спросила, что же такого случилось, почему я так ужасно закончил триместр. Она переспросила: “Война?” Я повторил: “Да, война”. Уж точно я не собирался признаваться, что просто забил на всё, что я раздолбай, целыми днями витаю в облаках и слушаю рок. Надо было найти убедительное, непроверяемое объяснение, которое разжалобит учителей на совете. Я мог бы придумать тяжёлую болезнь — рак или сердечную недостаточность, — но нужна была справка от врача; или мог сказать, что родители недавно развелись, но такое у половины учеников, что не мешает им получать нормальные оценки. Поэтому, недолго думая, я заявил, что всё из-за войны на родине матери. Я и сам не понимал, как такое пришло мне в голову! Но чем больше я размышлял, тем убедительнее мне казалась моя ложь. В новостях уже которую неделю твердили про этот конфликт, на фоне жутких

кадров, которые потом было не развидеть. И хотя всё происходило где-то далеко, в неведомой стране, все в целом понимали, о чём речь. Я разошёлся и добавлял подробностей: ужасы войны, горе матери, кошмары отца и как мне трудно спокойно сосредоточиться на учёбе. Я знал, что моя ложь работает, потому что Софи слушала меня со слезами на глазах. На совете она так хорошо выступила в мою защиту, с чувством повторив мои доводы, что учителя, глубоко растроганные, согласились пока не решать мою судьбу.

Я и представить не мог, что они пригласят в школу родителей. Я попался в собственную ловушку. Сидел, потупившись, между отцом и матерью и, пока директор зачитывал вслух пересказ старосты, не отрывал взгляд от своей ноги, отчаянно дергавшейся под столом. Когда мы вышли, отец устроил мне взбучку прямо на школьном дворе, на глазах у смеющихся одноклассников. Но куда труднее было выдержать молчание матери. Неизбывное её молчание. Она просто смотрела на меня несколько бесконечных секунд. И в эти секунды мне захотелось исчезнуть навсегда — столько презрения было в её глазах. Ещё несколько дней она не говорила мне ни слова. Через неделю пришла моя ведомость. В графе для комментариев директор едко приписал: “Когда ложь всплывает, доверие тонет”. Нечего удивляться, что я остался в шестом классе ещё на год.

Той весной Руанда впервые постучалась в нашу жизнь. Мама никогда про неё не говорила. Для неё жизнь началась с 1973 года, когда она приехала во

Францию. Она никогда не упоминала родственников, не рассказывала про детство, у неё не было ни одной фотографии из её юности “там”. Когда я был маленьким, то наверняка спрашивал, из какой она страны и где её родители — мои бабушка с дедушкой, которых я никогда не знал. Не помню, что она отвечала. Дверь в прошлое моей матери была закрыта. К слову, она не слушала руандийскую музыку, не готовила традиционных блюд и не пела мне колыбельных на родном языке. Дома у нас не было ни одной экзотической вещи, никакие знакомые из Руанды не появлялись у нас в гостях. В моём представлении мы были самой обычной французской семьёй. Разумеется, мама не могла скрыть свой цвет кожи, и время от времени настойчивые вопросы, невинные замечания или предвзятые намёки вызывали из небытия далёкую страну, которую она никогда не упоминала и не считала своей. Но она не поддерживала эту тему. Это был просто факт из жизни. Я не помню, чтобы она хоть раз пожаловалась на своё положение или осуждала кого-то за расизм. Особенно поражало, что она говорит без акцента. Узнав, что родилась она не здесь, все удивлялись и хвалили её французский. Единственное, что она изредка путала, это, странным образом, мужской и женский род, или, сильно устав, произносила “р” вместо “л”. Отец утверждал, что ему никогда не было дела до того, что у них разная кожа. “Любви цвета безразличны”, — любил он повторять. Он говорил это с гордостью, заявляя, что не замечает мамино цвета кожи. А так как она упорно молчала

о своих корнях, я почти забывал, что она родилась и выросла в другой стране. Из-за чего я иногда замирал, застав её за телефонным разговором на киньяруанда, в шоке от того, как бегло она изъясняется на этом неведомом языке. С кем она говорит, я не знал. А когда спрашивал, она уклончиво отвечала что-то про “старых знакомых” или “дальних родственников в Брюсселе”. Во время таких звонков я подглядывал за ней. В её манерах, интонациях, осанке, в том, как она всплёскивала руками, мне виделась совсем другая женщина, её словно накрывало аурой тайны, что сильно меня будоражило. Когда я наблюдал за этим перевоплощением, меня охватывало мимолётное, но неприятное чувство. Жуткое чувство, что передо мной чужой человек. Что я ничего не знаю о женщине, с которой прожил всю жизнь. О собственной матери.

Руанда вошла в мою жизнь через новости, которые мы неизменно смотрели за ужином. Когда диктор впервые упомянул её, я машинально оглянулся на маму, я был взволнован и почти обрадован, что о её родине наконец говорят в эфире. Она никак не среагировала на меня, поглощённая кадрами, мелькающими на экране. Видя, что мне не сидится спокойно, отец строго глянул на меня. По окончании новостей я ждал, что мама скажет что-нибудь, — напрасно. Эта сцена повторялась почти каждый вечер. Месяцами раскалённые потоки насилия, беженцев и смертей

лились нам на тарелки. Перед показом диктор заботливо предупреждал, что некоторые материалы могут шокировать зрителей. И мы, не сводя глаз с экрана, застывали с вилками в руках точно статуи, глядя на это далёкое варварство. Потом опять появлялся диктор с подводкой к следующему репортажу. На мгновение воцарялась тишина, а затем всё снова шло своим чередом: отец подливал себе вина, мать тщательно перчила пюре, а я пытался разрезать стейк и отогнать от себя только что летевшие на меня с экрана жуткие сцены. Зрительский шок у нас в семье заедался большим куском молчания. И каждый раз у меня ужасно крутило живот.

Я и сейчас вижу, как часами лежу, свернувшись клубком на кровати: лоб в поту, руки давят на горящие внутренности в попытках унять боль; вижу, как вечером в своей комнате разглядываю зыбкую тень на стене, и эта тень меняет очертания, вздрагивает, преобразается, а потом исчезает по мере того, как солнце садится и приходит ночь; вижу, как долгие часы не делаю ничего, необъяснимо чувствуя, что нужно ждать, что жизнь готовит меня к чему-то, чего я ещё не знаю, и ожидание — терпеливое, долгое, упорное — обратная сторона моего предназначения.